

Нет автора

**Вопросы философии и
психологии: Книга 139-140**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 101
ББК 87
Н57

Н57 **Нет автора**
Вопросы философии и психологии: Книга 139-140 / Нет автора – М.: Книга по Требованию, 2021. – 324 с.

ISBN 978-5-458-04785-2

Вопросы философии и психологии. Состоит из 137 книг.

ISBN 978-5-458-04785-2

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

Memento mori.

(По поводу теории познания Эдмунда Гуссерля).

τι οὖν ἡ φιλοσοφία; το τιμωτάτων.
Платинъ.

I.

Много говорятъ о томъ, чѣмъ отличается философія отъ другихъ наукъ, но, повидимому, одно отличіе—и самое существенное, то, что дѣлаетъ философію философіей, т. е. наукой, совершенно непохожей ни на какую другую науку—умышленно всегда игнорируется. Я говорю: умышленно, ибо мнѣ кажется, что всѣ его чувствуютъ и всѣ упорно стремятся затушевать его, сдѣлать какъ бы несуществующимъ. Такъ пошло еще съ древнѣйшихъ временъ. Уже греки подмѣтили, что философія иначе устроена, чѣмъ другія науки, и уже греки всячески старались доказать, что философія вовсе не иначе устроена, чѣмъ другія науки. Даже больше того—непремѣнно хотѣли убѣдить себя, что философія есть наука изъ наукъ и что ей особенно свойственно разрѣшать единымъ способомъ всѣ, подлежащія ей вѣдѣнію, вопросы: У другихъ наукъ есть только мнѣнія, философія же даетъ истину, говорилъ уже Парменидъ. „Должно тебѣ узнать: и недрожащее сердце хорошо закругленной истины и мнѣнія смертныхъ, въ коихъ не заключается подлинной достовѣрности“. Совершенно очевидно, что какъ разъ истинѣ не свойственна закругленность—ни хорошая, ни дурная, и еще въ меньшей степени недрожащее сердце. Эти свойства присущи именно мнѣніямъ смерт-

ныхъ. Всѣ смертныя имѣютъ мнѣнія о томъ, что за днемъ слѣдуетъ ночь, что камень тонетъ въ водѣ, что засуха губитъ всходы и т. д. Такихъ твердыхъ, неколеблющихся, недрожащихъ мнѣній у смертныхъ пропасть. А вотъ Истины—только на мгновенье вспыхиваютъ и тотчасъ гаснутъ, и всегда колеблются и дрожать, точно листья на осиново-мъ деревѣ. Когда Парменидъ утверждаетъ свою истину о томъ, что мышленіе и бытіе одно и то же,—ему нуженъ весь паеосъ его великой души, чтобы произнести эти слова съ той твердостью, съ какою обыватель высказываетъ свои мнѣнія, даже такія, ошибочность которыхъ обнаружится чуть ли не завтра.

Ибо ошибочность мнѣнія—есть его случайный предикатъ, ошибочность же истины, повидимому, какимъ-то таинственнымъ способомъ связана съ самымъ ея существомъ. Если я держусь того мнѣнія, что Цезаря убили Брутъ, или Александръ былъ сыномъ Филиппа Македонскаго, то мою ошибку легко исправить. Достаточно мнѣ встрѣтить болѣе освѣдомленнаго человѣка, либо заглянуть въ учебникъ исторіи, и я освобожусь отъ ложнаго мнѣнія. Словомъ, мнѣнія людей объ обыденныхъ вещахъ если и бываютъ ошибочны, то только на время. Мы иногда слишкомъ торопимся съ заключеніями, иногда не имѣемъ достаточно данныхъ, чтобы правильно отвѣтить на вопросъ, но мы знаемъ, что, когда обстоятельнѣй присмотримся или получимъ нужныя данныя, у насъ будутъ прочныя и вѣрныя мнѣнія. Къ примѣру: есть ли люди на Марсѣ? Одни думаютъ, что есть, другіе—что нѣтъ. Но придетъ время, и всѣ перестанутъ „думать“, и убѣдятся либо въ томъ, что люди на Марсѣ есть, либо въ томъ, что людей на Марсѣ нѣтъ.

Совсѣмъ иначе обстоитъ дѣло съ вопросами чисто философскими. Парменидъ думаетъ, что мышленіе и бытіе тождественны. Я думаю, что это не такъ. Одни согласятся съ Парменидомъ, другіе со мною. Но никто не въ правѣ утверждать, что въ его сужденіи заключается подлинная истина. Послѣдняя, подлинно достовѣрная истина, на кото-

рой рано или поздно согласятся люди, заключается въ томъ, что въ метафизической области нѣтъ достовѣрныхъ истинъ.) Можно спорить о законахъ физики и химіи, и здѣсь споръ плодотворенъ въ томъ смыслѣ, что онъ приближаетъ спорящихъ къ достовѣрному, прочному убѣжденію. Когда Архимедъ выяснялъ законы о рычагахъ, онъ выяснялъ то же, что и мы теперь выясняемъ. И всякій, кто возражалъ Архимеду и не соглашался съ нимъ, хотѣлъ того же, чего хотѣлъ Архимедъ. То же можно сказать о послѣдователяхъ Птоломея и Коперника. И тѣмъ, и другимъ хотѣлось знать истину о землѣ и солнцѣ, и, когда наступилъ моментъ, и истина стала ясною, споры сами собою прекратились, за ненадобностью. Въ философіи же, повидимому, споры имѣютъ своимъ источникомъ вовсе не неясность предмета. Тамъ спорность и противорѣчивость различныхъ утверждений вытекаетъ изъ самой сущности дѣла. Гераклитъ съ Парменидомъ не только на этомъ, но и на томъ свѣтѣ, если бы имъ пришлось встрѣтиться, не сговорились бы. Та истина, которой они служили и здѣсь, и въ иномъ мірѣ, не только существуетъ, но, повидимому, и живетъ. И, какъ все живое, не только никогда не бываетъ себѣ равна, но и не всегда на себя похожа.) Я полагаю, что такое допущеніе необходимо сдѣлать. Вѣрнѣе, нельзя слѣпо поддерживать доставшееся намъ по наслѣдству отъ эллиновъ убѣжденіе, что философія, по своей логической структурѣ, есть такая же наука, какъ и всякая другая наука. Именно потому, что древніе, подъ гипнозомъ которыхъ мы продолжаемъ жить и мыслить и сейчасъ, такъ настойчиво стремились сдѣлать изъ философіи науку *par excellence*, мы прямо обязаны поставить это утвержденіе подъ сомнѣніе.

Межъ тѣмъ новѣйшая философія попрежнему уклоняется отъ такой постановки вопроса. Всѣ гносеологическія изслѣдованія въ настоящее время, какъ и въ древности, ставятъ себѣ прямо противоположную задачу: оправдать во что бы то ни стало нашу науку, какъ единственно возможное знаніе, и доказать, что философія, поэтому, должна быть

наукой. Мы убѣждены, что наше знаніе совершенно; трудность лишь въ томъ, чтобъ выяснитъ, на чемъ основывается наша увѣренность. Въ теченіе всего XIX-го столѣтія представители научной философіи съ поразительной настойчивостью стремились преодолѣть указанную трудность. Но и двадцатый вѣкъ не хочетъ отстать въ этомъ отношеніи отъ своего предшественника. И сейчасъ мы встрѣчаемъ не мало попытокъ новыхъ теорій познанія, которыя продолжаютъ стремиться къ осуществленію старыхъ задачъ. Едва ли я ошибусь, если скажу, что наиболѣе замѣчательными въ этой области являются работы Эдмунда Гуссерля. И я думаю, что провѣрить результаты его изслѣдованій будетъ очень полезно. Конечно, я лишень возможности разбирать въ этой статьѣ подробно все написанное Гуссерлемъ. Но въ томъ и нѣтъ надобности. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ Гуссерль напечаталъ въ журналѣ „Логосъ“ статью подъ заглавіемъ „Философія, какъ строгая наука“. Въ этой статьѣ, обширной и очень обстоятельной, Гуссерль подводитъ итоги своимъ многолѣтнимъ размышленіямъ. Я буду главнымъ образомъ ее имѣть въ виду и пользоваться другими сочиненіями Гуссерля только попутно, для разъясненія.

Уже заглавіе статьи—„Философія, какъ строгая наука“—въ нѣкоторой степени выясняетъ намъ направленіе мыслей автора, подчеркивая историческую преемственность поставляемой себѣ авторомъ задачи. Правда, Гуссерль упрекаетъ до него жившихъ философовъ въ томъ, что они часто, соблазняясь требованіями минуты, шли на компромиссъ, отклонялись отъ своего настоящаго дѣла и стремились не къ философіи, а къ „мудрости“ или „міросозерцанію“ и тѣмъ измѣняли, такъ сказать, своему призванію. Но все-таки онъ признаетъ, что философія всегда хотѣла быть наукой—она только не всегда умѣла держаться въ предѣлахъ своихъ границъ и очень часто проявляла преступное нетерпѣніе въ желаніи скорѣй приблизиться къ завѣтному послѣднему слову и тѣмъ не только не помогала себѣ, но ско-

рѣй затрудняла свое дѣло. Наибольше важными моментами въ исторіи философіи была эпоха Сократо-Платоновская въ древности, и Декартовская—въ новое время. Послѣдними представителями научной философіи были Кантъ и отчасти Фихте. Шеллингъ и Гегель изъ новѣйшихъ, Плотинъ и стоики изъ древнихъ оказываются уже, по терминологіи Гуссерля, не философами, а мудрецами, т.-е. не строгими представителями строгой науки, а блестящими и глубокомысленными импровизаторами на темы о первыхъ и послѣднихъ вопросахъ бытія.

Противоставленіе философіи—мудрости, и науки—глубокомыслию чрезвычайно любопытно и оригинально. Насколько мнѣ извѣстно, въ такой формулировкѣ оно высказано впервые Гуссерлемъ. До Гуссерля принято было думать, что если мудрость и глубокомысліе, гонимыя всюду, могутъ найти себѣ гдѣ-нибудь прочное пристанище, то развѣ только на груди философа, тамъ же, гдѣ обыкновенно ютилась тоже никогда не знавшая гдѣ преклонить свою бѣдную голову добродѣтель. Но Гуссерль рѣшительно отказывается дать пріютъ въ философіи мудрости и добродѣтели. Онъ готовъ имъ оказать должный почетъ, можетъ быть, искренно, а можетъ быть, чтобъ не спорить съ традиціей,—но средства къ существованію онѣ должны добывать гдѣ-либо въ иныхъ мѣстахъ: хотя бы имъ пришлось обратиться къ помощи частной или общественной благотворительности.

Я не расположенъ брать на себя роль защитника угнетенныхъ добродѣтелей—хотя отнюдь не по тѣмъ соображеніямъ, которыя представляетъ Гуссерль. Я тоже думаю, что мудрость слишкомъ долго засидѣлась на не принадлежащемъ ей престолѣ. Мудрость—т.-е. длинная, сѣдая борода, огромный лобъ, глубоко впавшіе глаза, нависшія брови и, какъ вѣнецъ всего, старческая благословляющая рука—во всемъ этомъ древнемъ благочестіи чувствуется ложь искусственно скрываемого безсилія, а всякая ложь и искусственность раздражаетъ и отталкиваетъ. Можно еще

читать мудрецовъ и жалѣть ихъ. Пушкинъ чтить и любилъ митрополита Филарета и посвятилъ ему дивное стихотвореніе. Но не нужно много проникательности, чтобъ догадаться, что Пушкинъ ни за что не согласился бы самъ стать сѣдимъ мудрецомъ — предметомъ почтенія и даже преклоненія. И боги оберегли своего любимца, пославши ему своевременно Дантеса, который спокойно, какъ бы въ сознаніи возложенной на него высокой миссіи, выполнилъ свою роль палача судьбы. И Лермонтова они пощадили, и Ницше. Но вотъ Толстой, къ которому Провидѣніе было менѣе снисходительно, въ концѣ-концовъ оказался не въ силахъ терпѣть мученичество невольной славы и сталъ самъ торопить развязку: его бѣгство изъ дому за нѣсколько дней до смерти что это такое, какъ не рѣзкій, порывистый жестъ вышедшаго изъ себя человѣка? Грѣмъ мудрости—сѣдины, маститость, ореолъ генія и благодѣтеля челоуѣчества замучилъ его и онъ нетерпѣливой рукой срываетъ съ себя постыдныя украшения. Что и говорить — почтенная старость и слава мудреца тяжеле, много тяжеле шапки Мономаха и куда менѣе привлекательны!

Но Гуссерль возсталъ противъ мудрости совсѣмъ не по тѣмъ мотивамъ, которые погнали изъ Ясной Поляны Толстого за нѣсколько дней до смерти. Гуссерль—натура трезвая и положительная. Отъ мудрости его отталкиваетъ не ея преувеличенное благоразуміе, а недостатокъ основательности. Она для него страшна не тѣмъ, что она слишкомъ почтенна и тяжеловѣсна, что она слишкомъ закончена въ своемъ традиціонномъ ореолѣ. Мудрость и глубокомысліе кажутся ему слишкомъ юными и незрѣлыми! Онъ напоминаетъ ему то время, когда челоуѣчество преклонялось еще предъ астрологіей и алхиміей. Теперь челоуѣчество стало старше: у насъ есть химія и астрономія, ясныя и точныя науки. Пора уже и философіи стать взрослой, въ свой чередъ превратиться въ строгую науку.

Такъ ставить вопросъ Гуссерль: не нужно намъ ни мудрости, ни глубокомыслія — намъ нужна строгая наука.

Понятно—разъ вопросъ такъ поставленъ, на первый планъ выдвигается теорія познанія. Иными словами спрашивается: можетъ ли быть философія наукой и есть-ли истина внѣ науки? И тутъ уже задача Гуссерля не представляется такою оригинальною, какой она казалась съ перваго взгляда. Мы вспоминаемъ Канта: то, что Гуссерль называетъ мудростью и глубокомысліемъ, Кантъ называлъ метафизикою. Кантъ тоже принималъ какъ непререкаемое положеніе, что существуютъ положительныя науки, дающія неизблемыя истины, и, исходя изъ анализа возможности существованія наукъ, доказывалъ невозможность метафизики, т.-е. того, что на языкѣ Гуссерля называется глубокомысліемъ и мудростью. Сходство и въ томъ, что оба мыслителя, несмотря на раздѣляющій ихъ промежутокъ времени чуть ли не въ 150 лѣтъ, убѣждены, что настоящее знаніе, т.-е. наука, должно быть апіорнымъ. Конечно, Кантъ формулируетъ свои вопросы и ведетъ свои доказательства иначе, чѣмъ Гуссерль. Но для насъ сейчасъ эти различія не представляютъ интереса. Намъ важно лишь выяснитъ, почему у обоихъ мыслителей проблема теоріи познанія пріобрѣтаетъ такое огромное значеніе. И если мы внимательно прислушаемся къ ихъ аргументаціи, то, пожалуй, станеть очевиднымъ и еще одно обстоятельство: что теорія познанія являлась основнымъ вопросомъ философіи еще съ древнѣйшихъ временъ. Уже греки, и не только Сократъ, Платонъ и Аристотель, но и тѣ, которыхъ называютъ отцами эллинской философіи, придавали гносеологическимъ проблемамъ основоположное значеніе. Уже ихъ тревожило непостоянство человѣческихъ убѣжденій, и они, какъ мы видѣли на примѣрѣ Парменида, всячески старались уйти отъ колеблющихся мнѣній и отдохнуть душой на лонѣ всегда себѣ равной истины. Знаменитая борьба между Сократомъ и его прославившимися учениками, съ одной стороны, и съ наслѣдниками Гераклита, софистами, съ другой, въ значительной степени была борьбой за теорію познанія. Платонъ и Аристотель, вслѣдъ за Сократомъ, стремились убить

въ зародышѣ то безпокойство, которое вызывали ихъ противники своими скептическими разсужденіями. „Всякому положенію можно противопоставить положеніе противоположное“, „человѣкъ есть мѣра всѣхъ вещей“—такія утвержденія представлялись ученикамъ Сократа не только ложными, но и кощунственными. И потому ихъ не только отражали доводами разума, но всегда еще старались внушить всѣмъ увѣренность, что приверженцы такихъ убѣжденій—люди низкаго нравственнаго уровня. Казалось бы, что такой пріемъ спора вообще неумѣстенъ и въ частности является совершенно излишнимъ въ тѣхъ случаяхъ, когда въ рукахъ вся полнота теоретической аргументаціи противъ скептицизма. А что преемники Сократа обладали полнотой аргументаціи, объ этомъ свидѣлствуютъ многочисленныя мѣста изъ сочиненій Платона и Аристотеля.

Приведу здѣсь небольшой отрывокъ изъ „Метафизики“ Аристотеля—направленный противъ утвержденій крайняго скептицизма. „Изъ такого рода взглядовъ вытекаетъ много разъ осмѣянное слѣдствіе: они сами себя отмѣняютъ. Ибо утверждая, что все истинно, мы этимъ самымъ утверждаемъ истинность положенія, противоположнаго утверждаемому, и потому ложность своего собственнаго (ибо противоположное утвержденіе не допускаетъ его истинности), если же все объявляется ложнымъ, то и само положеніе—тоже ложно. Если же утверждать, что только одно противоположное нашему утвержденію не истинно, или только одно наше не ложно, то все-таки придется допустить безчисленное количество ложныхъ и истинныхъ утверженій. Ибо кто высказываетъ одно истинное положеніе, тотъ высказываетъ истину объ его истинности и т. д. до безконечности“ (Met. Г. 8, 1012 и сл.).

Изъ этого классическаго, по краткости и ясности, опроверженія скептицизма слѣдуетъ, какъ будто бы, съ очевидностью, что позиція скептицизма не имѣетъ подъ собой ровно никакихъ основаній, такъ что какъ будто не было уже никакой надобности добивать его сторонниковъ еще

обличениями моральнаго характера: лежачаго вѣдь не бьютъ. И все-таки теоретическими возраженіями не удовольствовались. Противники создали софистамъ репутацію корыстныхъ, безнравственныхъ людей и мы до сихъ поръ не знаемъ, что погубило ихъ дѣло: плохая ли философія или дурная слава. На вѣсахъ исторіи послѣднее обстоятельство, какъ извѣстно, играетъ нерѣдко рѣшающую роль.

II.

Теперь спросимъ: что же такое философія? Она должна быть наукой, говорить намъ Гуссерль. То же говорили намъ и тѣ, которые, по словамъ Гуссерля, подмѣнили философію мудростью. Но вѣдь это только одинъ изъ признаковъ. А затѣмъ и новый вопросъ: что такое наука? Но, прежде чѣмъ выслушать Гуссерля, послушаемъ снова древнихъ. Сначала дадимъ слово Плотину, т. к. у него имѣется очень краткое и простое, но въ своемъ родѣ очень замѣчательное опредѣленіе. Τι ἡ φιλοσοφία; τὸ τιμιώτατον — что такое философія? Самое значительное. Какъ видите, Плотинъ даже не считаетъ нужнымъ говорить о томъ, наука ли философія или не наука. Самое важное, самое нужное, самое значительное — а будетъ ли это наука или искусство или что-либо равно далекое и отъ искусства и отъ науки, — все равно. Теперь дадимъ опять слово Аристотелю: „нечего искать науки болѣе важной и значительной (τιμιώτεραν) то же слово, что и у Плотина). Она самая божественная и значительная (опять τιμιώτατη). И это — въ двоякомъ смыслѣ. Ибо богу она болѣе всего свойственна и потому божественна среди наукъ и она имѣетъ своимъ предметомъ бога. Только ей одной свойственно и то, и другое. Ибо, что богъ принадлежитъ къ основаніямъ и есть начало, это — несомнѣнно; и только богъ же владѣетъ ею, по крайней мѣрѣ въ высшей степени. Можетъ быть другія науки нужнѣе, но лучше ея нѣтъ (Met. А. 2. 982 сл.).

Такъ судили о философіи великіе философы древности. Конечно, Гуссерль долженъ былъ бы цѣликомъ принять сужденія Платона и Аристотеля. Пожалуй, онъ отказался бы еще отъ нѣкоторыхъ выраженій Аристотеля: едва ли бы онъ согласился повторить, что философія божественна среди наукъ, что она болѣе всего свойственна богу, что она имѣетъ своимъ предметомъ бога. По-моему, даже навѣрное не согласился бы. Слово „богъ“ напомнило бы ему о мудрости, которую, какъ мы знаемъ, онъ считаетъ врагомъ философіи и изгоняетъ изъ своего государства, какъ Платонъ изгналъ поэта изъ своего. И все-таки не будетъ ошибкой сказать, что слова Аристотеля полностью выражаютъ собой отношеніе Гуссерля къ философіи. Только тамъ, гдѣ Аристотель, по обычаю древнихъ, говоритъ о богѣ и божественномъ, Гуссерль употребляетъ слова, болѣе привычныя для вышколеннаго новѣйшей наукой слуха. На вопросъ о томъ, что такое философія, Гуссерль отвѣчаетъ: „наука объ истинныхъ началахъ, объ истокахъ, о *фύματα πάντων*“. Аристотель тоже говоритъ: „наука есть познаніе нѣкихъ основаній и началъ“ (Met. A. I. 982 a.). Когда современный ученый говоритъ объ истокахъ и корняхъ всего,—онъ, конечно, говоритъ о богѣ, но о такомъ богѣ, который утверждается независимо отъ какой бы то ни было богословской и даже метафизической системы. Страхъ обратить философію въ *ancilla theologiae* еще не умеръ въ насъ и мы предпочитаемъ свои мысли выражать своими же словами. Это вполне законно и даже похвально: вѣрнѣе всего и Аристотель, живи онъ въ наше время, тоже избѣгалъ бы тѣснаго сближенія съ догматическимъ богословіемъ. И если принять, что слова „богъ“ и „божественный“ употреблялись Аристотелемъ какъ наиболѣе яркія и сильныя *Superlativa*, то надо полагать, что у Гуссерля не было бы основанія спорить съ Аристотелемъ. Объ этомъ свидѣтельствуетъ его статья „Философія, какъ строгая наука“. Она представляетъ собой не только выясненіе задачъ и методовъ философіи—она есть торжественный гимнъ фи-